

Маша Сандлер
~
КОМОЕДИЦА

Накануне праздника все суетилось и дрожало. Уйка почувствовала это в тот же миг, как проснулась. Она еще не открыла глаза, только слушала. Младшие сопят на печи, но сон у них уже не глубокий, а легкий, утренний, готовый улететь, как только позовет мать. Уйка улыбнулась внутри себя, видя, что Вячке снятся праздничные пироги и большой огонь, а маленькой Ясне — красные ленты, которые привез из городища отец. Он привез их не Ясне, а Уйке, чтобы на празднике она вплела их в косы и понравилась хорошему жениху. Уйка уже невеста, а Ясна получит свои красные ленты не раньше чем через пять весен.

Сестра Щучка тоже проснулась, хотя лежит рядом с Уйкой тихо, дышит ровно и ничем не выдает себя. Уйка видит в ее мыслях черную зависть и вздыхает. Не хватало еще утро такого дня начинать с ссоры. Бабушка их отца, имени которой никто уже не помнит, тоже не спит на своей лавке за печью. Но она почти

никогда не спит, не просит есть, и иногда мать забывает напомнить Щучке, чтобы та отнесла ей ёдова в круглой миске. В мыслях бабушки их отца тихо и бело, как зимой в поле. Бабушка ничего не хочет, ничего не ждет и даже не знает, какой большой намечается праздник.

Самого отца Уйки нет в доме. Наверное, он уже ушел в лес вместе с соседом Олошей и его дядей Кирьяком. Для праздника понадобится много дерева — сделать столы, жертвенницу и разжечь большие костры до самого неба, чтобы боги увидели их, согрелись и подарили Уйке счастливую жизнь.

Дверь в горницу скрипнула, и Уйка услышала, как мать вошла и загремела заслонкой печи. Мать дрожит и суетится больше всех, и Уйке это не нравится. В мысли матери она боится заглядывать, нехорошо это. Их мать зовут так же, как и ее, Уйка, что значит «хорошая женщина». Отец увидел ее на празднике, когда она танцевала на шкуре медведя. Красные ленты сверкали в ее черных косах, как искры костра, а длинные серебряные колты на шапке звенели, как капель. Теперь мать дрожит и суетится, словно к ней вернулась ее тринадцатая весна.

Сама Уйка совсем не боится.

Наконец мать разожгла печь, кинула в пламя кусочек мяса для гонь-огня и позвала Уйку и Щучку помогать.

Дел сегодня невпроворот. Надо наготовить гороховых комьев, наварить овсяного киселя на всех, кто придет на праздник, и еще на десяток гостей незваных. Надо наносить воды и выскоблить чисто горницу. Надо натопить черную баню у реки и выпарить всех домашних, даже бабушку отца, а это не просто, хотя она и легкая, словно новорожденное дитя. Надо достать из сундуков красной льнянки, поглядеть, не проели ее вдруг мыши. К вечеру соберутся женщины, петь Уйке страшные песни про смерть и причитать. Потом Уйку отведут в Дом, ночевать рядом с Мёдом в последний раз.

Уйка выронила из ладоней гороховый ком, который с громким чавком упал мимо чугуна на пол.

— Эйа, что это с тобой? — строго сказала мать, но Уйка видела, что она не злится — наоборот, радуется тому, что на Уйку пала положенная ей сегодня суета.

Щучка быстро нагнулась, подобрала уроненный сестрой горох и запихнула его в рот. Ну и пусть, может быть, так ее черная зависть станет чуточку меньше. Прошлой весной она тоже танцевала на медвежьей шкуре и вплетала красные ленты в косы, но никто из хороших женихов не захотел ее. Хотели только худые, с которыми отец не стал даже разговаривать.

Уйка уронила горох на пол, потому что вспомнила про Мёда и захотела посмотреть на него внутри себя, но тот только зло рыкнул и прогнал ее.

— Я пойду покормлю Мёда, мама, — сказала Уйка, вытирая руки о подол.

— Не надо ему сегодня, — остановила ее мать. — Ему завтра есть и есть, пусть место приготовит.

— Он злится... хоть воды снесу ему свежей.

Мать махнула рукой, не слушая ворчания Щучки про то, что косоглазой медведице Уйке все позволено, а ей ничего.

По пути к Дому Уйка остановилась и вдохнула сырой утренний воздух. Еще неделю назад мела пурга, а сегодня, хотя небо еще розовое и солнце не взошло по-настоящему, уже тепло. Или ей так только кажется, потому что завтра Комоедица, а значит, и весна.

Мёд заворчал, когда она была еще за десяток шагов от Дома, — учуял ее. Уйка зачерпнула хрупкого липкого снега с того места, где он был почище, и свободной рукой вытащила деревянный засов, запирающий дверь. Внутри было темно, но когда глаза попривыкли, Уйка разглядела в углу, недалеко от воздушного оконца под потолком, темный ком размером с хорошего теленка.

— Мёд, Мёдушко, ну что ты? — позвала Уйка. — Осердился?

В мыслях Мёда были голод, овсяная каша и сушеные яблоки. И время от времени красная злоба вспыхивала зарницами, словно в грозу. В последнее время Мёд часто злился. Однажды Уйка набралась смелости и спросила про это у отца, а он сказал, что тот просто вырос и стал зверем.

— Скоро Комоедица, все будет хорошо, — сказал отец, положив тяжелую руку Уйке на голову.

Двух медвежьих деток отец принес из леса четыре зимы назад. Малица была для Щучки, а Мёд для нее. Они с сестрой кормили малышкой из своей доли, спали с ними в Доме, гуляли по деревне, но так, чтобы звери не сбежали в лес. Другие из их семьи, даже отец, относились к медведям с почтением и опаской, а Уйка считала Мёда своим братом.

Иногда она думала, что так случилось оттого, что, когда она впервые посмотрела, внутри у него было тепло, тихо и так покойно, как никогда ей не было ни в одном человеке. «Ты словно я», — сказала Уйка Мёду внутри себя. «Ты», — ответил ей Мёд. Это «ты» было у него как у человека «да», потому что всегда, когда он был сыт или доволен, он думал про Уйку.

Малица тоже любила Щучку, но прошлой весной прошел их праздник. Щучка станцевала на шкуре,

снятой кузнецом с медведицы, ленты в ее косах сверкали, колты позвякивали, но внутри Щучки поселился ужас. Может быть, поэтому хорошие женихи и не захотели взять ее. Они не видели так, как видела людей Уйка, но заметили, что новая невеста пляшет как-то не слишком задорно и улыбается совсем не так, чтобы видны были все ее белые крепкие зубы.

Хотя Щучка и называла сестру косоглазой, Уйка на то не обижалась. Ее глаза и в самом деле были немного враскоряку, зато у нее одной на всю деревню они были цвета свежей зеленой травы, а не как у остальных — коричные, как орехи посеред лета. И уж она-то точно знала, что завтра будет плясать, будто это ее последний раз, и улыбаться во весь рот, чтобы хорошие женихи не посмотрели на то, что, когда ее правый глазок смотрит прямо, левый слегка поглядывает на сторону.

Уйка ласково ткнула снегом в нос Мёда. Он еще немного поворчал, но снег слизал. Нос у него был большой, влажный, и из пасти сладко тянуло тухлятиной. Уйка обняла его за шею, зарыла лицо в шерсть, которая тоже была влажной, пахла зверьем и кое-где свалаялась комками. Мёд положил правую лапу с желтыми длинными когтями Уйке на спину.

— А помнишь, — произнесла Уйка, не вынимая лица из медвежьей шерсти, — прошлой весной я в ручей упала? Вся мокрая была, чуть не околела. А ты меня лизал и грел, я так домой и не пошла, чтобы от матери не попало.

Мёд ничего не отвечал, только вздохнул шумно. Внутри у него стало тепло, и красные всполохи погасли. Показалась из-под снега трава, сначала пушистые первоцветы, потом сочная зеленуха, потом овсы встали. Мёд внутри себя валялся по овсовому полю и ел, и ел хрусткую сладкую зелень, и Уйка была тут же. Потом из леса на опушку вышла Малица и поднялась на задние лапы. Шерсть на ее круглой голове отливала золотым...

— Эйа, Уйка, ты тут? — Голос у Щучки был недовольный, но в Дом она после прошлогоднего праздника заходить боялась. — Иди давай, мать зовет в баню. Поможешь мне бабушку отца туда снести.

Мёд недовольно заворчал, когда Уйка выбралась из его объятий.

«Я это ты. Вечером приду», — сказала она ему внутри себя.

Бабушку отца тащили в баню на льнянке, взявши за углы. Ноша была не тяжелая, но вертевшаяся

под ногами Ясна все норовила взобраться бабушке на живот, чтобы тоже прокатиться. И оттого они с Щучкой то бранились, то смеялись и пару раз бабушку все-таки роняли на снег.

Потом мылись сами и мыли малышей. Вячка уже большой, мог бы и с отцом париться, но вертелся между женщинами и щипал Щучку и Уйку за розовые соски, пока они совсем не озлились и не вытолкали проказника на улицу.

Потом тащили бабушку обратно, варили кисель в трех больших чугунах. Щучка подшивала красную льнянку, а мать с Вячкой и Ясной сделали из соломы две куклы-хоробы, которые завтра на празднике сожгут ради Комоедицы.

Наконец в дом пришли женщины. Уйка смотрела на них и не узнавала, хотя почти всех она знала с детства. На женщинах были красные шапки с колтами и расшитые рубахи. Широкие юбки шелестели, когда они проходили в горницу и рассаживались по лавкам. Но не в том было дело — во всех лицах было какое-то новое выражение, торжественное и испуганное, оно сделало этих женщин другими.

— Эйа, — начала самая старшая, бабка Беличиха, — горе-горюшко приключилось, девка-девица в пруд свалилась...

Вячка в углу прыснул в кулак, за что получил от матери подзатыльник.

Женщины одна за другой стали петь, причитать над Уйкой, словно над мертвой. Каждая придумывала что-то свое. То Уйка в их песнях обварилась кипятком, то волки ее задрали, то утопла в реке. Сначала Уйке, как и брату, было смешно, потом она испугалась, сама не зная чего, а потом, еще немного погодя, перестала различать слова. Она стояла посреди горницы, посреди плача, и слышала только, как едва одна замолкает, то ли устав, то ли не зная, как еще оплакать «погибшую» Уйку, как другие подхватывают, заводят вой еще сильнее, громче.

Она не чуяла, как ее переодели, осторожно передавая с рук на руки богато расшитую рубаху, верхнюю кофту и остальное. Как расчесывали, не переставая выть, волосы, и вплетали в тугие косы красные, как искры, ленты. Сердце билось в груди гулко и быстро, словно пойманная шапкой птаха. Уйка и оставалась бы там, вне себя, где-то далеко, до самого следующего утра, если бы нечаянно не встретила глазами с Щучкой. Сестра стояла у двери, смотрела искоса, отверотясь немного к окну. Лицо ее было испуганно и грустно.

Уйка вспомнила прошлогодний праздник. Как Малицу повели по дворам, как низко кланялись

ей хозяйки, подавая лучшие кушанья, сбереженные за зиму. И мясных пирогов поела медведица, и медовых хрустов, и колобушек на лучшем масле. Где хорошо ела, с аппетитом, — ждали счастливой сытной жизни на будущий год; где воротила широкою золотистую морду — вздыхали и даже плакали.

Щучка все время, пока кормили и привечали Малицу, сидела в Доме, замирала в радостном ожидании самого главного. И вот потом ее вывели, отвели на жертвенницу, а тут уж и Малица была готова. Их поставили друг против друга.

Кузнец воткнул медведице копьё в самое сердце. Кровь брызнула, и предсмертный крик заглушили радостные бубны, дудки, песни про счастье и любовь, про весну.

Щучка испачкала в крови праздничную рубаху, да так, что потом не смогла отстирать...

Наконец Уйку вывели во двор, и провожальный вой бросился в небо свободно, далеко разносясь вокруг. Сначала шли самые старшие бабки — Беличиха первая, потом женщины помладше, самые голосистые. Потом мать и Щучка вели под локти совсем онемелую Уйку, а дальше уже все остальные, малые девчонки, несмышленные дети и любопытные мужики.

Вдруг Беличиха оглушительно икнула, перебив общий стройный хор. Все остановились, и самые первые замерли, замолкли в ужасе.

Дверь Дома была открыта. Не настезь, но достаточно, чтобы всем было видно, что внутри пусто, и даже поземкой намело уже небольшой сугробец у порога.

Все замолчали, а Уйка вдруг заревела по-медвежьей: громко, низко, так что ее рык слышен был наверняка и на том берегу реки, и в глубине леса. «Ты это я», — кричала Уйка внутри себя, а наружу вырывался только рык.

От нее шарахнулись. Ее поймали, повалили и вжали в снег. Связали, втокнули в пустой Дом и заперли крепким деревянным засовом.

Уйка не чуяла всего этого. Она бежала рядом с Мёдом по проталине между высоких елок, которые норовили сбросить на них опостылевшие за зиму снежные шапки. Поблескивали в вышине весенние чистые звездочки. От Мёда пахло зверьем и овсяным киселем. Уйка бежала. Сердце ее билось ровно, она улыбалась так, что видны были все ее крепкие зубы. Звенела капель, а закат сиял алым, словно ленты в невестиных косах.